

КАЖЕТСЯ, в жизни Андреева (писательской, а может быть, и личной) годы 1901—1906 были самыми полными, радостными, бодрыми. Все его существо летело тогда вперед; он полон был сил, писал рьяно; несмотря на самые мрачные «Бездны», на «Василия Фивейского» — полон был надежд, успехов, и безжалостная жизнь не надломляла еще его. Он только что женился на А. М. Вильгоровской, нежной и тихой девушке. Светлая рука чувствовалась над ним. На его бурную, страстную натуру, очень некрепкую, это влияние ложилось умеряюще. Слава же росла, шли деньги; Андреевы жили шире; давно была оставлена квартирка на Владимирско-Долгоруковской, где мы познакомились. Квартиры становились лучше; появился достаток. Часто люди бывали, чтения. В те времена процветал в Москве литературный кружок «Среда». По средам собирались у Н. Д. Телешова, у С. С. Голоушева и у Андреева. Бывали: Бунин Иван, Бунин Юлий, Вересаев, Белоусов, Тимковский, Рязумовский и др. Из заезжих: Чехов, Горький, Короленко. Бывали и Бальмонт, и Брюсов. Каждый раз что-нибудь читали. Много прочитал Андреев — думаю, всех больше. Он читал сдержанно, несколько однообразно, иногда поправляя густые волосы, свешивающиеся на лоб; в левой руке папироса; иногда помахивал ею в такт, и из-под опущенного лба вдруг быстро взглядывал горящими своими глазами.

Меня, наверно, он гипнотизировал. Мне все нравилось, и безраздельно, в нем и его писании. В спорах о прочитанном я всегда был на его стороне. Впрочем, и вообще он имел тогда большой успех, очень всех возбуждал, хотя образ его писаний мало подходил к складу слушателей. Но на «Среде» держались просто, дружелюбно; дух товарищеской благожелательности преобладал. И даже тогда, когда вещь жорили, это делалось необходимо. Вообще же это были московские, привлекательные и «добрые» вечера. Вечера не бурные по духовной напряженности, несколько провинциальные, но хорошие своим гуманитарным тоном, воздухом ясным, дружелюбным (иногда очень уж покойным). Входя, многие целовались, большинство было на ты (что особенно любил Андреев); давали друг другу прозвища, похлопывали по плечам, смеялись, острили, и в конце концов, по стародавнему обычаю Москвы, обильно ужинали.

Можно сказать: Москва старинная, хлебосольная и благодушная. Можно сказать и так, что писателю молодому хотелось больше молодости, возбуждения и новизны. Все же свой, великорусский, мягкий и воспитывающий воздух «Среда» имела. Знаю, что и Андреев любил ее. А судьба решила, чтобы из членов ее он ушел первый — один из самых младших.

Иногда я ходил к нему по утрам — это значит, о чем-нибудь хотелось говорить; как порядочный писатель русский, он вставал поздно; как москвич — бесконечно распивал чай, наливая на блюдечко, дул, пил со вкусом; к приходившему относился с великим дружелюбием. Может быть, и нехорошо было идти к человеку утром; может быть, и необязательно разговаривать так много; все же вспоминаешь с удовольствием об этих утренних русских разговорах где-нибудь на Пресне, при белом снеге с улицы, деревьях вдоль тротуара, низким леге ворон с веток на крышу дома. Говорили о Боге, смерти, о литературе, революции, войне, о чем угодно. Куря, шагая из угла в угол, туша и закиная новые папиросы, Андреев долго, с жаром ораторствовал. Говорил он неплотно. Но имел привычку злоупотреблять сравнениями и любил острить. Юмор его был какой-то странный; и была в нем эта жилка, и чего-то не хватало. И во всяком случае, в его писании юмор несомненен. Он не радуется.

В три Андреев обедал, а потом ложился спать,

черта не европейская, как и во всем был он далек от европейца. (Носил поддевку, а позднее ходил в бархатной куртке. Среди «передовых» писателей была у нас тогда мода одеваться безобразно, дабы видом своим отрицать буржуазность.) Проснувшись вечером, часов в восемь, опять пил крепкий чай, накуривался и садился на всю ночь писать. Тут он разогревался; голова накалялась и легко, произвольно рождалась страшная, иногда чудовищная. Писание было для него опьянением, очень сильным; в молодости, впрочем, он вообще пил; и, как рассказывали, наибольшая радость в том заключалась, что уходил мир обычный. Он погружался в бред, в мечты; и это лучше выходило, чем действительность. Студентом, после попойки, в целой компании друзей, таких же фантазмагористов, он уехал раз, без гроша денег, в Петербург...

Не удивительно, что писания утреннего, трезвого, как и вообще дисциплины, он не выносил. Ночь, чай, папиросы — это осталось у него, кажется, на всю жизнь. Иногда он дописывал до галлюцинаций. Помню его рассказ, что когда он писал «Красный смех» и поворачивал голову к двери, там мелькало нечто, как бы уносящийся шлейф женского платья. Бредовое писание не

стуже. Андреев же остался за границей. Из Германии попал на Капри. Жил там тяжело, бурно. Вот отрывок из его письма, 9 января 1907 года: «Для меня жизнь так: несколько людей, которых я люблю, а за ними города, народы, поля, моря, наконец, звезды, и все это чужое. И если бы все люди, немногие, кого я люблю, вдруг умерли бы, или забыли меня — я оглянулся бы и завыл от ужаса и одиночества». Далее говорит, что хорошо, если бы мы с женой приехали туда, и прибавляет вновь:

«Здорово я тут один, несмотря на Горького. С вами бы я мог говорить о смерти Шуры, по-стараться понять ее».

С этого года Андреев переехал в Петербург. Может быть, тяжело ему было заводить в Москве прочную, оседлую жизнь. Его душевное настроение было бурно-мрачное, с какими-то срывами. Перегорало горе, развело. Но натура живая, страстная гнала вперед. Он никак еще не знал, что сделать, как наладиться. «Опять с некоторого времени, — пишет он от 17 августа 1907 года, — день мой, каждый мой день и каждая ночь — до краев налиты тоской. Что делать, я не знаю, ибо убивать себя не хочу, в сумасшедший дом тоже не хочу, а жизнь не выходит, а тоска, поистине,

Когда впервые подъезжал я к ней летом, вечером, она напомнила мне фабрику: трубы, крыши огромные, несуразная громоздкость. В ней жил все тот же черноволосый, с блестящими глазами, в бархатной куртке Леонид Андреев, но уже начавший жизнь иную: он женился на А. И. Денисевич, заводился новым очагом, был полон новых планов, более грандиозных, чем ранее, и душа его была смята славою, богатством, жаждой допить до конца кубок жизни — кубок, казавшийся теперь неосуществимым. Обстановка для писателя (в России) — пышная. Дача построена и отделана в стиле северного модерна, с крутою крышей, с балками под потолком, с мебелью по рисункам немецких выставок.

Мы много говорили, очень дружелюбно, мне хорошо было с Андреевым, но жилище его говорило о нецелости, о том, что стиль все-таки не найден. К стилю не шла матушка из Орла, Настасья Николаевна, с московско-орловским говором; не шли вечные самовары, кипевшие с утра до вечера, чуть не всю ночь; запах щей, бесконечные папиросы, нервность, мягкая, развалистая походка хозяйки, добрый, взгляд его глаз, многие мелочи. Правда, стремление к грандиозу находило некое применение: нравилось смотреть

на природу — все эти моря, облака и запахи я должен приспособить для приема внутрь, а в сыром виде они слишком физика и химия. То же и с людьми: они становятся интересны для меня с того момента, как о них начинает писаться история, то есть ложь, то есть все та же наша единственная правда. Я не делаю из этого теории, но для меня воображаемое всегда было выше сущего, и самую сильную любовь я испытал во сне. Поэтому я, пока не сделался писателем и не освоил пьянство и его чудесные и страшные сны».

Флобер, столь бесконечно далекий от Андреева, говорит где-то в письме: la vie n'est supportable qu'en travaillant*, и правда, одурманивал себя работой. Для Андреева, как писателя настоящего, смысл этих лет, годов зрелости, также, видимо, сводился к работе, как паркозу, увозящему от скуки и действительности. «Сколько скучных дней и просто неинтересных людей в первой действительности! А в моей все дни интересны, даже дождливые, и все люди интересны, даже самые глупые. Сейчас за окнами моросит, просто моросит, и нет ничего, кроме просто мокрой Финляндии и озноба в спине. — а начин описывать, и получится интересно, явится настроение; и чем

кончилась моя дружба с Горьким — все писатели дружат в юности, а со зрелостью приходит к ним неизбежное одиночество. Так оно и надо, понаду!» (23 июня 1911 года).

Кажется, за эти годы Леонид Андреев и действительно новых друзей не приобрел, а от старых отделился, находясь в Финляндии. Кажется, жизнь его там ограничилась кругом (важнейшим, разумеется) — семьи. В Москве он появлялся редко. В Петербурге литературных друзей и всегда у него было мало; а в литературе критической к нему относились теперь дурно. Вообще же в его литературной судьбе много русского: безудержное возмущение, столь же беспомощная брань. Ни шум, ни гонимые, ни интервью не могли скрыть резкого охлаждения к нему публики. Та исключительность его, что раньше восторгала, теперь сердила. Чем громче он старался говорить, тем раздраженной слушали. И за короткий срок своих удач и поражений мог бы вспомнить покойный слова Марка Аврелия: «Судьба загадочна, слава недостоверна». Или же обратиться к собственной «Жизни Человека».

За это время мало приходилось его видеть. Доходили временами письма, но все реже. Я знал, что он обрелся, что завел лодку моторную и скитается по шхерам. Мореходские инстинкты пробудились в нем внезапно; нравились бризги, пена, шум ветра, одиночество. Быть может, нечто байроническое мерещилось ему в этих одиноких блужданиях. Вызов жизни, людям, гордость, честолюбие надломленное.

Я видел его в последний раз в Москве, осенью 1915 года. Шла его песня «Тот, кто получает пощечины». Вряд ли она удача, вряд ли совершенна, как и вообще мало совершенного оставил Леонид Андреев. Хаос, торопливость и несдержанная пылкость слишком видны в его писании. Но как и во всем главнейшем, что он написал, есть в этой песне андреевское, очень скорбное, сплошь облитое ядом горечи...

Тяжелая душа, израненная и больная, мне почувствовалась и в самом авторе. Это иной был Андреев; не тот, с кем философствовали мы некогда на Пресне, бродили в Бутове. Надлом, усталость, тяжело боющееся сердце, тигристая раздраженность. И лишь глаза блестящие иногда по-прежнему.

— Песню испортили, — говорил он. — Сгубили. Главная роль не понята. Но посмотри, — он указывал на ворох вырезок, — как радуются все эти ослы. Какое наслаждение для них — лаять.

Он уехал в Петербург смутный и подавленный, хоть иногда много смеялся и острил. Мы же, прощавшиеся тогда с ним в Москве, его немногие друзья, вряд ли угадывали будущее, вряд ли думали, что живого, настоящего Андреева, в бархатной куртке и с черными глазами, не «сон» и не «мечту» второй действительности, — нам уже не увидать.

И мне трудно говорить об этих заключительных годах земного странствия Андреева...

Когда мысленно я вызываю образ Андреева, он представляется мне молодым, чернокудрым, с остроблистающими, яркими глазами, каким был в годы Грузии, Пресни, Парижана. Он лихорадочно говорит, курит, стакан за стаканом пьет чай где-нибудь на террасе дачи, среди вечеряющих берез, туманно-нежных далей. С ним, где-то за ним, тоненькая, большеглазая невеста в темном платье, с золотой цепочкой на шее. Молодая любовь, свежесть, сияние глаз девических, расцвет их жизни.

И, наверно, не могу я говорить с холодностью и объективностью об Андрееве, ибо молодая в него влюбленность на всю жизнь бросила свой ответ, ибо для меня Андреев ведь не просто талант русский, тогда-то родившийся и тогда-то умерший, а, выражаясь его же словами, милый призрак, первый литературный друг, литературный старший брат, с ласковостью и вниманием опекавший первые шаги. Это не забывается. И да будут эти строки, сколь бы бедны они ни были, дальним приветом чужестранной могиле твоей, Леонид.

Борис ЗАЙЦЕВ

ЛЕОНИД

АНДРЕЕВ

невыносимая. И все о том же, о той же — Шура, о ее смерти. Отпустила было не на долгое время, а теперь снова гвоздят один и те же мысли и сны. Сны Ужасная, брат, вещь эти сны — в которых она воскресает и всю ночь понт меня дикою радостью, а наутро уходит».

В Москву он наезжал довольно часто. Нередко останавливался в «Лоскутной», близ Иверской и Исторического музея. Живший там П. Д. Боборыкин не без ужаса рассказывал: «Представьте, я встаю в шесть утра, к девяти поработал уже; а он в девять только возвращается». Петр Дмитрич, никогда за полночь не ложившийся, пивший минеральные воды, носивший ослепительные воротнички, и наш Леонид Андреев... О, Русь!

В это время помню я Андреева всегда на лодках, в сутолоке, с интервьюерами, в угаре. Это был год, когда впервые он вступил на путь театра — путь, давший ему славу еще шумнейшую, но и тернии очень острые. «Жизнь Человека» была первая его символическая трагедия, в чертах схематически-условных обнимавшая жизненный путь и судьбу человека вообще. Это вещь роковая для него. Можно ее любить или не любить; но с душевной, и писательской, и человеческой судьбой Андреева связана она неразрывно. В ней кончился один период, начался другой. Кончилась молодость Андреева, возросла схема, патетизм, и яснее означился надлом в душе его. В ней есть и нечто пророческое о самой жизни автора — если пророческость понимать широко. Умер Леонид Андреев не так, как погибает Человек, и в бедность не впадал, но некоторые наклонности своей почувствовал.

«Жизнь Человека» имела крупный успех — в Москве в Художественном, в Петербурге у Мейерхольда. Андреев более и больше увлекался театром. И более и больше укреплялся в Петербурге.

С весны 1908 года он поселился на своей даче у Райвола, на Черной Речке. Эта дача очень выделяла новый его курс: и шла, и не шла к нему,

с башни в морской бинокль на Финский залив, наблюдать ночью звезды. Но как раз рано утром следующего дня, проснувшись в боковой комнате для гостей, не совсем еще отделанной, я услышал, как двое маляров, снаружи малевавших на подмостках, напевали неторопливо простую, славную нашу песню. Вот в ней — земля Москвы, березки Бутова, поля Орла. И нет Финляндии. Нет майоликовых отделок, матовых кубов, нет модерна. Нет и «Жизни Человека».

На этой новой даче написал Андреев «Царь-Голод», «Черные Маски», «Анатэму», «Океан» и другое. Хорошо было удалиться из столицы, но это не было удалением в Ясную Поляну, столица переночевала к нему в самом светлом и жалком обличье; звинчивала, гнала к успеху, славе, шуму и обманывала. Кто не любит обольщения успехом? Андреев жадно его ввусил и не мог уже забыть: не мог уже жить, чтобы о нем не писали, не шумели, не хвалили. Не знаю даже, мог ли он теперь писать лишь для себя, вне публики. Он ненавидел публику и поклонялся ей. Он презирал газетчиков, освободился же от них не мог. Для славы нужны были журналисты, налетавшие роями, которым он рассказывал о своей жизни, замыслах, писаниях; сердился, что рассказывает, а назавтра вновь рассказывал. Они печатали нежные интервью, раздражавшие друзей Андреева, а врагам дававшие материал для издевательств. Вся эта чужая газетная, в море вырезок с отзывами о пьесах, отзывами, критиками, бранью, клеветой, заметками, каждый день притекала к нему и одурманивала душу. Вряд ли чувствовал он себя хорошо. Тем более что все настоявшее в критике твердили об упадке его дарования.

За всей этой горькой мишурой у него был и свой мир. Вот что говорит он в письмах этого периода о второй действительности. «С каждым уходящим годом я все равнодушней и первой действительности, ибо в ней только я раб, муж и отец, толковые боли и с прискорбием изве-

правднее я буду изображать, тем меньше останется правды. Ибо само слово принадлежит ко второй действительности, само по себе оно картина, рассказ, сочинение».

Впрочем, он оговаривается: не вся действительность презренна.

«Не скажу даже, чтобы я был прав, так настоятельно и убежденно предпочитая воображаемое сущему, и если устроит между ними соотношение, то окончательная, последняя красота будет на стороне последнего. Но такая красота — моменты, далеко разбросанные в пространстве и времени. Не только собрать, а можно прожить всю жизнь и ни одного не встретить. Немало на свете красивых людей, а расстояние между ними — словно между звездами; и один еще не родился, а другой давно умер. Пусть даже живет, но или он далеко бесконечно, либо говорит на другом языке, либо я совсем не знаю о его существовании. Ведь все эти, кого мы любим и считаем настоящими друзьями, Данте, Иисус, Достоевский, существуют только в воображении нашем, во второй действительности, во сне».

В первой же действительности, несмотря на славу, деньги, шум и суету вокруг, вряд ли Андреев чувствовал себя теперь хорошо. Он не производил такого впечатления. Во всяком случае, видимо, становится он одиноко. О дружбе, о «мужской, крепкой, глубокой, серьезной дружбе» он говорит теперь с горечью. («Как страшно звучит слово «дружба» — ты помнишь, что оно означает? Я забыл». 8 июля 1909 года.) И еще: «...Заметил ли ты... что дружба ранняя ягода и приходит прежде других? Любовь, как тень, сопровождает, пока есть свет, а для новой дружбы положен ранний предел. И если не захватил друга из юности, то нового не жди; да и старого-то не удержишь. И не случайность для меня, что

* Жизнь становится сносной только благодаря работе (франц.).